

Восьмилетний Боб был старше на два года. И по собачьим меркам я мог считаться его внуком. Потому играл, слегка дурачась, в половинку силы: хватал конец палки цепкой челюстью – и тянул, присев на задние лапы, делая вид, что твёрдо намерен вырвать. Мелкие ровные зубки и вогнутые крючки клыков – белоснежные, словно чистил пастой! В доброжелательных сливах зрачков внезапно проскальзывала почти человеческая ехидца прямо перед тем, как внезапно разжимал пасть. Отчего я, тянувший с другого конца, должен был хлопнуться в траву. И тогда, победоносно тьякнув, пёс оказывался подле, взгромождал на плечи лапки с чёрными пружинками подушечек, и принимался приветливо облизывать лоб. Было щекотно и слюняво. Тем не менее, я наловчился улавливать ехидный миг в зрачках, и старался отпустить палку первым. И тогда Боб недоуменно приседал, притворялся побежденным, игриво заваливаясь на бок, а я начинал чесать ему холку и за ушами. Пёс медленно,

неуклюже даже переваливался на спину, подставляя мускулистый тёплый животик, чтоб его и там почесали.

Вероятно, вначале его назвали Бобиком, но, вымахав, он заставил прежних хозяев вызвать к себе уважение и изменить имя на солидное. В действительности: захоти он, то отобрал бы у меня махом ту палку. Помимо куцей бульдожьей челюсти имел и другие признаки боксёра: сильные плечи, упругий и гладкий торс, уверенно стоящий на лапах, словно выросших не под телом, а вдоль него. Ушки торчком и объёмные глубокие глаза, в которых не было породистой надменности. Они были светлыми, где-то даже зелёными, будто только что вымытые летним дождём. Крупная дворняга, одним из предков которой, вероятно, был колли, проглядывала в Бобе не только тёмно-рыжим окрасом, но и в шее с царской горбинкой, и, конечно же, в совершенно не куцем, а прямо глядящем пятаке носопырки. И уже – само собой – характером псина задалась не в благородного дона, а в беспородных папашу своего или мамашу. Пёс действительно напоминал боб: упругий, покатый, продолговатый, твёрдый и юркий, мог выскочить из скорлупы будки с такой резвостью, что осмелившийся оказаться в пределах досягаемости чужак вряд ли бы успел отскочить.

И хотя свою службу на цепи пёс нёс исправно, я бы не сказал, что был он прямо-таки вундеркиндом, скорее наоборот – приветливым, как большинство деревенских дурачков. Иные собаки переставали брехать, когда ты ещё только подходил к калитке, узнавая твой запах из-за забора, и приветствовали затем с видом преисполненной достоинства стражи у княжьего крыльца. Боб же надрывался в ошейнике – даже когда уже окажешься во дворе, попадая в пределы видимости. И только несколько шагов спустя пёс тебя признавал, начинал виновато суетиться, переминаясь лапами, а прут хвоста дребезжал и вихлялся по немислимым траекториям.

Вообще-то подобным породам, как и их незадачливым отпрыскам, хвосты при рождении принято купировать. На нашей же городской окраине никто подобной ерундой себя не беспокоил: что вышло, то вышло – лишь бы дом охранял да где попало не гадил. К тому же единственное ветеринарное заведение находилось, как чёрт закинул: не знаешь, так и не найдешь. Оттого Боб напоминал несуразного маленького львёнка, потому как кончик его голого рыжего прутика заканчивался небольшой волосяной кисточкой. Да ещё и достался бабушке уже взрослым, с таким вот хвостом.

Раньше баба жила в другом конце города, деда умер два года назад, и избашка совсем покосилась и захирела. Мы же и Рыжиковы – две семьи – обосновались в пригородном посёлке Шоферском, название которого говорило само за себя. Неподалеку завод керамзитового гравия, автобаза городских мусоровозов да глиняный разрез кирпичного завода. И всё же дома здесь поновее, построенные не более двадцати лет назад. Вот дочки и присмотрели матери домишко подле себя, перевезли мою бабушку, как та ни упиралась, а соседи по какой-то причине и псом одарили, взяв себе собаку помоложе.

Полагаю, не оттого, что я оказался у неё одиннадцатым и самым младшим внуком, а в силу прескверного характера баба Наташа нисколечко не походила на тех шаблонных бабушек, что сверх меры потчуют пирогами и коровьим молоком. Никогда и никого баба не усаживала за стол, реагируя на твоё появление как на досадные заботы: словно муха в дом залетела либо комар. В доме имелось две небольшие комнаты, пройти в которые можно было только через кухню с финской печью. Стол всегда чистый: ни ложек, ни крошек. В зальной комнате стол под кружевной скатёркой с пустой вазой и фотографией деда в рамочке. Окна постоянно плотно задёрнуты шторами, а на комодах – горшочки с алоэ.

В левом дальнем углу горела лампадка под иконой, изображавшей женщину с младенцем. Немногословная, бабуля порой громко отрыгивала икоту, при этом крестила рот, приговаривая: «оспади-прости-согрешила» скороговоркой. Всегда в валенках, опоясанная шерстяным платком вокруг поясицы, в заношенной жёлто-зелёной кофте с пуговицами со свиной пятак величиной, маленькая, грузноватая, постоянно бродила из комнаты в комнату, прихрамывая на правую ногу, и отрывисто приказывала: это не трогай, туда не лезь. В своём вечном кирпичного цвета платке и мужских тесных очках на резинках, с тяжело опавшими уголками губ она напоминала неопрятного зрителя в деревенском музее, куда заходят лишь затем, чтоб переждать жару или дождик. Телевизора баба не имела из принципа, и даже оставшийся от их с дедом совместной жизни подарила на свадьбу Ленке Рыжиковой. Была чуть глуховата, оттого радио в доме трещало громко, и не переставая: от гимна до гимна.

Оттого, приходя к бабуле, в доме я не задерживался подолгу: здоровался, обозначая своё присутствие, спрашивал про самочувствие, как просила мама; несколько минут стоя, ибо присесть не предлагалось, выслушивал её ворчание по поводу того или иного родственника – тот напился, а этот живёт с кем попало. А поскольку из пятерых её детей в живых осталось три дочери, а две оказались поблизости, больше всех доставалось старшенькой, Хвидоре, и её соответствующим фамилии рыжеватым и огрублённым – словно неряшливо натёсанным – сыновьям, Тольке и Сашке. Надо сказать, что повод они давали. Ещё не закончивший школу сухопарый конопатец Саша уже обклеил двери в своей комнате этикетками от выпитых им портвейнов, а готовящийся к армии Толя предпочитал водочку, после которой с наслаждением поколачивал свою беременную жену либо гонялся с топором за отчимом по огороду.

Перехватив бабулю на паузе, говорил, что пойду во двор поиграть с Бобом, и на час-полтора она забывала о моём присутствии. Затем, словно спохватившись, хромала на крыльцо и начинала мной распоряжаться. Некоторые хлопоты я не понимал. Известно, зачем нужно натаскать в баню дров и воды, мы сами приходили к бабушке в баню, поскольку свою перестраивали. Ясно, для чего нужно было слазить в пахнувший плесенью погреб – бабуле захотелось солёного, особо предпочитала квашеную капусту с редькой. Но зачем нужно было переставлять инвентарь в сарае с места на место? Сама бабуля огородом не занималась, мы ей и копали, и садили, и снимали урожай; скотины, кроме кур, не держала, и я был уверен – в сарай не заходила с момента переезда. Но сколько вил, тяпок, лопат на месте, не пропало ли чего – ей обязательно надо было знать.

Пока я возился и склонялся к мысли, что пора бы и линять по направлению к домашним, где чего-то можно и пожать, покачаться в гамаке и дожидаться с работы маму, Боб изредка поскуливал, перебирая передними лапами; принимался грызть кость с оглядкой в мою сторону, недоумевая – отчего я законопатился в стайку для бесполезных занятий вместо того, чтобы играть с ним...

Последнее длинное предшкольное лето на Шоферском тянулось бесконечно: я шатался с утра до вечера где желал, предоставленный сам себе, бездельничал и только позже понял: то было самое что ни на есть счастье – уютное, тёплое и безразмерное. Но оно было скучным. Телевизор быстро надоедал, картинки в книжках не изменялись, как мультики; родители с утра уходили на работу и меня с собой не брали, как ни просился. Однажды отец, устав от конючек, взял всё же, но там было ещё скучнее. Экскаватор просто копал глину и вонял мазутом. Вокруг было грязно, муторно, запустело, и даже местные – разреза – прикормленные собаки со мной не играли, а уныло валялись в тени, зевая и сонно выгрызая из шерсти

репей. Детей на нашей улице было немного, и почти все куда-то на лето подевались. Кроме вертлявой Паулины в самом первом доме у трассы в город. Но родители похвастаться передо мной коллекцией фантиков от конфет её без присмотра отпускали ненадолго, а ещё они держали гусей. И когда те выходили на прогулку, я спешно ретировался, потому что самый главный гусь меня не любил. Завидев, начинал хлопать себя крыльями по бокам, изгибать шею, словно подкрадываясь и намереваясь цапнуть за пятку. Оттого, кроме Боба, друзей тем летом у меня не оказалось. И у него, помимо бабули, выносящей ему в миске месиво из невкусных каш и хлеба, знакомых не наблюдалось. Неудивительно, что он радовался моим посещениям, и, отбросив свои собачьи дела – грызть кость, гавкать и дрыхнуть в будке, – увлеченно следовал всем моим ребячьим придумкам.

С нетерпением я ожидал выходных, когда мама не ходит на работу и варит супы с мясом либо печёт блины. Я умолял её положить в борщ именно кость, чтобы затем вместе с другими объедками отнести бабушкиной собачке. Не отказывался Боб и от позавчерашних блинов, заглатывая их с достоинством. Мама же сердилась, когда сообщал, что пошёл не к бабушке, а поиграть с Бобкой. Но зря: я не отводил бабушке вторую роль. В моём представлении они вместе: и Боб, и бабуля, являли картину целого, неизменного, словно так и появились на свет, друг от друга неразделённые. К ним прилагались и домотканые половики в доме, и высокое зелёное крыльцо, и финская печь без дверцы и поддувала. Баня всегда была с ними, огород, погреб, стайка, летняя кухня, где мама с бабулей шинковали и засаливали капусту по осени тазами и стоял маленький, глубокий и пропахший пылью диван, где я иногда дремал в жару. И вытоптаный у будки грязноватый пятак среди лужайки, где после дождя собиралась лужа и марала Бобу лапы и хвост, – также был сопричастен общей картине.

Доставшуюся ему нелепую кисточку Боб использовал умело: свернувшись подремать, отгонял ею мелких мушек, липнущих на уголки глаз. А когда она загрязнялась и засыхала коркой, расчёсывал мелкими, частыми, чуть ленивыми покусываниями. И однажды, не рассчитав, взял да и откусил. Другое его наследие – ровные острые зубки с косыми клыками, никогда никого не укусившими, – сыграло злую шутку. Мне очень жаль было той забавной кисточки, утешало только, что этого никто не заметил: ни мама, ни бабушка, ни Рыжиковы, да и самому Бобу, казалось, всё равно – есть у него кисточка на хвосте или нет её.

Случилось так: после дождей в конце июля, а в начале августа солнце, спохватившись, начало одаривать полноценным летом. Толька Рыжиков поехал на рыбалку, задремал сидя и дефилировал ныне с полосатым животом, где полоска белой кожи чередовалась с полоской загара. Подсолнухи в огороде распрямились, налились, растопырили ярко-жёлтые ободки, предвещая скорое семя. Комары спрятались и оживилась мошка. Она липла на подживающую коросту кончика хвоста изнывающего от зноя Боба. Тот раздраженно тыкал в неё носом, облизывал и покусывал, расцарапывая. Ранка щипала, начинала отвлекать. Порой, во время обычных наших игр, он на несколько секунд переставал меня замечать, разворачивал изогнутую, но куцую шею, рассматривая маятник хвоста, и прыгал за ним. Хвост, конечно же, прыгал вслед за Бобом, прятался под задние лапы, и пёс о нём забывал. Тем более, если предстояло со мной играть: тянуть палку, гоняться за мячом...

В какой-то из дней так же начал следить за хвостом своим, изготываясь к прыжку, а я, нетерпеливый, потянул к себе за шею, привычно сгребая в горсть тёплые складки под ухом, намереваясь ласкать, чесать, как он любит. Но собака внезапно отхлынула, огрызнулась, хватая зубами воздух, где только что болталась моя ладонь. Испугаться я

не успел, решил, что это какая-то очередная игра, потому как Боб в следующую секунду вновь стал жизнерадостным и льнул ко мне, подставляя бок и виновато облизывая запястье.

Так получилось, что через пару дней я на недельку уехал. Папа пошёл в отпуск и, решив навестить свою сестру в Канске, взял меня с собой. Это был новый город с кучей впечатлений, с огромным кинотеатром и светофорами. Деревянные дома вековой давности казались необычными и рассказывали, что не всё так просто и поверхностно в жизни, как нам объясняли в детском саду. До революции была ещё какая-то жизнь – основательная, не без изяществ, а не так, как выходило по этим рассказам: динозавры, запустение и сразу хоп – светлая эра социализма. Под впечатлениями я совершенно забыл про Боба. И только на обратном пути, в поезде, представил, как он мне обрадуется. Как я буду почёсывать, гладить его и рассказывать о том, что нового увидел, о чём думал; о том, как охранял вещи на вокзалах, пока папа стоял за билетами в кассу; о том ещё, как в электричке было разбито окно и сильно дуло. Я всегда рассказывал Бобу о своих делах, в том числе и о злом главном гусе, и мелкой Паулине с фантиками. Но мама сказала, что Боб заболел, и когда пойду к бабе, просила, чтобы я к нему не подходил. Это было странным, поскольку взрослые всегда говорят много странного и ни к чему не обязывающего. И, конечно же, я бы даже не подумал прислушиваться к маме. Мне рвалось, не терпелось увидеть дружочка и отнести ему косточек, поскольку к нашему приезду мама сварила лапшу с курицей.

Не насторожился и когда не услышал привычного лая, открывая калитку. Боб лежал в будке и никак не отреагировал на моё появление. Выложив кости в миску, принялся его звать, протягивал косточку, он словно не слышал. Расстроенным зашёл к бабушке, надеясь хоть ей

рассказать, как съездил в Канск. Бабуля немного послушала и начала ругать Ленку Рыжикову, которая недавно родила и целыми днями только и делает, что катает по Шоферскому коляску с ребенком, не стирает, не готовит, а трещит с подружками. Насчёт Боба сказала только: «К собаке сегодня не ходи!». Не знаю почему, но бабушка никогда не звала Боба по имени, а только «собака». Давно закрадывалось подозрение, что она его просто забыла.

И только выйдя во двор с нашим слегка пожеванным мячиком в руках, что подобрал в сенях, я увидел пса. Боб играл, кружась, притопывая, вокруг своей оси, повизгивая и изредка лая. Он по-прежнему не замечал меня, и хотелось уже побежать, обнять, повалить, потискать, рассказать, как внутри образовался ровный сгусток спокойствия, а нисколечко не страха, когда два здоровенных парня на вокзале принялись оттирать от вещей. О том, как, набычившись, вцепился в ручку тяжелой сумки и сказал им, чтобы уходили, а то позову папу. И кивнул на какого-то незнакомого огромного мужика, сидящего на скамейке неподалёку, совсем не похожего на моего тщедушного и сухопарого папулю в очках, стоящего за билетами где-то в другом зале. Как те парни стушевались и мигом исчезли. Я никому не рассказывал про эту мою внезапную находчивость, которую считал чуть ли не геройством, даже отцу. Я хотел рассказать о ней Бобу, ведь он же сторож, он должен был понять и оценить.

Но, спустившись с крыльца, внезапно почувствовал именно такой же сгусток спокойствия, стирающего холодком все эмоции, словно хороший ластик карандашную линию. Не знаю как, но понял, что Боб вовсе не играет. В нём всё стало неправильным. Он должен был уже унюхать, засеменить навстречу, потявкивая и припадая на лапы от нетерпения. Но этого не происходило, собака, как прежде, отрешённо кружилась на месте, никого не

замечая. Но ещё более неправильным был в запёкшихся красных укусах огрызок хвоста. Больше не напоминающий гибкий прутик. Нарост размером с большой палец, разбухший от воспалений, неприятно и ало смотрелся на заду собаки, словно выглядывающий обломок кости из мяса на рыночном прилавке. Постепенно, день за днём, час за часом, стараясь унять жжение заживающей раны, Боб откусывал свой хвост маленькими кусочками до тех пор, пока уже не смог дотянуться до его остатка. И недостижимость, невозможность повлиять на причину боли возмущенным раздражением пробегала по его рыжеватому тельцу, от мощных плеч до нетерпеливо подрагивающих коготочков. Было в этом даже чуточку комичного, мультяшного. Но только до тех пор, пока пёс не повернулся в мою сторону.

Бросился не сразу. И это спасло. Потому что словно лом к земле приковал. Вкопанным – не узнавал его взгляд. Некогда улыбчивые зеленоватые зрачки потеряли осмысленность и утонули в красноте. От напряженной, выматывающей погони за фантомом хвоста – в глазах полопались сосуды, избороздившие пространство их молниями. Сквозь сетки трещин ещё проглядывало нечто знакомое, мимолётное узнавание меня, мольба о помощи. Первые прыжки Боб совершил именно как к спасителю. Тому, кто если не избавит от страданий, то хотя бы пожалеет. Но за миг фигура подобралась, словно волна пробежала по мускулам: я чуть ли не в действительности разглядел несуществующую гигантскую руку, которая сама по себе в воздухе погладила моего пса, проводя чёрной ладонью от макушки до огрызка. И неслось уже незнакомое чудовище на цепи. С безумным взглядом и хрипло лающее. И если бы я оторопело не отступил на пару шагов, вывернутая к земле, приплюснутая голова с поджатыми ушками, напоминающая главного гуся, врезалась бы мне в колени, повалила с ног... Брызгая слюной, выплёвывая лай, Боб ненавидяще тянул пасть из

ошейника, задыхаясь, но не отступая. Мячик из рук выпал сам по себе, и пёс моментально вгрызся в него, прижимая лапами, кусая и мотая во все стороны. В другой ситуации это могло выглядеть игриво и забавно. Но тут я заревел.

Завыл белугой, слёзы противно рванулись по щекам. При этом не было никакой обиды, страха, а нечто большее, невероятно неисправимое сжало изнутри и давило глаза, как сок из лимона. Я уже чётко знал порядок мироустройства: если заплакать, то родители исправят то, что мне не понравилось. Но тут плакал, скорее, от бессилия. А ещё – глубоко – от чувства вины. Подумалось вдруг, что если бы не уехал, если бы не гулял с папой по Канску, ничего бы не произошло: я как-то, наверное, мог бы повлиять, чтобы дружок мой не изменился на ненавидящее всех существо. На крыльце образовалась бабуля с костыльком, который брала с собой всегда, когда выходила из дома. Она подняла его и замахала вникуда, в воздух, но выглядело это грозно.

– Ишь ты! Ну, на место! Дрянь такая! На ребенка кидается ещё! – сварливо, почти без эмоций выкрикнула, но пёс отчего-то послушался и стремительно заскочил в будку. Будто и не было ничего, и только чуть сплюсненный мячик у тротуара напоминал о кошмаре.

Мне показалось, что нашёлся тот, кто смог бы понять мою вину, мои сожаления, моё горе. Шмыгая, взобрался на крыльцо и уткнулся в бабушку, ожидая, что она погладит по голове, пожалеет. Но попал лбом в эту огромную пуговицу её, едва не оцарапавшись. А баба принялась отчитывать:

– А ты чего ревьешь? Сказано тебе было: к собаке не ходить?! Взбесилась скотина.

– Я не ходил... Мячик... – я возненавидел своё бесполезное бляение, поэтому, наверное, беспрекословно подчинился самому из необычных бабушкиных распоряжений.

– Ты сейчас иди в стайку, – вытирая лицо мне краем грязного кирпичного платка, отрывисто приказывала. – Посмотри тяпки. Выбери самую гнилую. Выдергу возьми. Ржавые гвозди выдерни, а черенок вытащи. В банке там из-под селедки новые гвоздики лежат. Вбей их по краям палки. Друг напротив друга. Только не в гнилой конец бей! В целый. И мне принеси.

Это оказалось самым сложным поручением из всех, что мне доводилось от бабушки. Нет, тяпки я знал, можно сказать, в лицо. Потому сразу взял ту, что давно взбугрилась ржавчиной настолько, что потеряла одно из своих крайних заострений, а гвозди, крепившие её к палке, такие же обмусоленные красноватой пылью, разболтались наполовину. Раскачивая, их можно было выдернуть и голыми руками. А вот новые вбить, когда палка крутится и норовит выскользнуть из-под прижимающего её колена, – упарился, и даже дважды съездил себе молотком по пальцу. Боб наблюдал за мной от лужайки, словно в «старые времена», интересуясь, чем я таким интересным занят, что не соизволю с ним поиграть. Но Бобу я больше не доверял. Потому как наблюдал он молчком, без дружелюбных повизгиваний. Лежал, выставив лапы перед собой. Внезапно вскакивал, пару минут кружился, всё же пытаясь поймать уже несуществующий хвост, затем вновь укладывался в вытопанное у будки, вывалив язык набок и тяжело дыша.

Ещё более необычно вела себя бабушка. Она пряла. Я и не знал, что у неё в доме есть такая старая и красивая вещь. Подсунув под себя гладкую полукруглую дощечку, из месива шерсти, привязанной к другой, изрезанной раскрашенными узорами в форме петушиных голов, она вытягивала толстую нить, вокруг которой по полу бегал тюрёчек – также ярко разукрашенный, с гладкими выемками для нити. И он был прекрасен! Красивее всех магазинных волчков и почти как самостоятельно выбирающий направление. Однако было в нём,

привязанном к нити, и нечто бессмысленное, как крутящийся за собственным хвостом пёс во дворе. Оттого я принялся рассматривать петухов на макушке доски. Пока не понял, что и они меня пугают. Красно-каштанового цвета, безучастно взирали мелкими ладными дырочками вместо глаз; в некоторые отверстия были просунуты верёвочки, прижимавшие шерсть к доске, и петухи, раскрыв полированные клювы, словно вопили от боли.

Осмотрев принесенную палку с гвоздями, похожую теперь на неряшливую антенну, бабуля замечаний не высказала, наоборот, похвалила:

– Вот и сладно, – сказала, вновь взявшись за толстую нить, примеряя, повесив её петлём. – Сегодня Сашка с Толькой зайти обещали. Они его и отведут

– К врачу? – как о само собой подразумеваемом спросил, всё ещё любуясь скольжением тюрёчка по половику.

– К врачу, – согласилась бабушка. – К собачьему доктору.

И дёрнула нитку сильнее обычного, так что верёвочка в глазнице петуха натянулась. Она сделала долгую паузу перед тем, как согласиться, оттого я внезапно потерял интерес к старинной прялке и уставился на бабулю, впервые осознавая, что взрослые могут врать. Вот так: в лицо и не скрывая удивления в интонации. И бабушка, видимо, поняла, что я ей не поверил. Строго выпучившись за очками, сказала, чтобы не мешал и шёл домой. Как отрезала.

Будто только того и ожидая, Боб вновь кинулся на меня. Прижимаясь плечом к стене дома, держась поодаль от края тротуара, куда цепь не пускала пса, осыпаемый лаем, сжавшись и покачиваясь, еле добрался до калитки, внезапно ощущая некую запредельную усталость. Больше всего мне хотелось сейчас действительно оказаться дома, лечь в гамак во дворе и смотреть в раскачивающееся голубое небо, стараясь угадать, на кого похоже то или вон

то облако. Но не мог, погружаясь в то тяжёлое марево, которое наступает перед глубоким сном. Внезапно Боб с сожалением взвизгнул вслед, как он всегда делал, прощаясь. Повернулся к нему, подпирая калитку спиной, и мы стали смотреть друг на друга. Поджимая ушки, припадая на лапы, пёсик вновь казался тем дружочком, которого я знал. Шагнуть к нему, погладить сейчас – казалось самым разумным. Возможно, это вылечит его: вернёт глазам прежний свет, успокоит рану от хвоста.

Но так и не сделал. По той же причине, что не пошёл домой. Ноги не слушались, наполнились ватой, и показалось, что я даже начал понимать, почему. Воздух во дворе бабушки стал иным. Лето, закатав подол, уже перешагивало ручеёк, оставляя нас до следующего года. От его сарафана ещё веяло теплом и сверкало подсолнухами, но и те уже склонили головы под тяжестью вызревшего груза. Берёза за оградой аккуратно перебирала резными листочками, как тётя Хвидора, работавшая бухгалтером, костяшками счёта. Но здесь, во дворе, ни ветерка, меж приятно вдыхаемого и знакомого вкуса вились немного другие, горьковатые и серые струи, оплетая пространство. Превращая нависшую над лужайкой атмосферу в утяжеленный мутноватый столб. Как будто гигантский невидимый слон опускал над нами ножищу, придавливая и затемняя обзор.

Крохотным существом своим ощущал я, что в бабушкином дворе поселилось новое, непонятное, способное из ниоткуда вытащить чёрную, огромную ладонь и в любой момент погладить несчастного Бобку. Именно такое, чего бы я не хотел знать и видеть. И когда из-за ограды раздались бойкие матерки и сверкнули подпалины макушек братьев, цепкость чьего-то присутствия ослабела. Где-то внутри обрадовался, вновь ощущая способность шевелиться, но, с другой стороны, стало ещё страшнее. Я знал, что Рыжиковы придут к бабе, и та расскажет им, как поступить с Бобом. Но боялся даже

уже не за собаку. Мне становилось страшно за них, шагающих в этот двор, где сквозит могилой.

И за себя немножко, потому как Толя общался со мной исключительно при помощи подзатыльников. И что бы там ни было, лишний раз попадаться ему на глаза желания не возникало. Притом я пребывал в уверенности, что взрослые люди всегда знают, как поступать, что правильно, что нет; у них в обиходе больше слов, они больше видели, многое знают, потому могут договариваться и переубеждать друг друга. Во мне же ощущения никак не оформлялись в подходящие слова, от них чаще всего отмахивались, подзатыльниками от братьев в том числе, и не припомнил момента, когда бы мог кого-то из них в чём-то переубедить. А порой из меня вылетало, неслось впереди мысли. И только произнеся, мог приурочить слова к тому, что чувствовал. И выходило совсем не про то. А тут – тем более. У меня не было пока решения, я не знал, чем помочь Бобу. Ожившие ноги думали за меня, и, не покидая ограды, проскользнул между грядок с засыхающими кустиками виктории, и спрятался за дом.

Там был небольшой заброшенный участок, на котором ничего не сажали. Когда-то там, видимо, было небольшое строение, от которого остался только заросший осотом фундамент. Прямо надо мной теперь приятной тенью сгустилась кроной берёза, резные листочки продолжали отчитывать время на счётах. Усевшись на землю, спиной к стене дома, вначале пытался расслышать, о чём в нём бубнят, но не разобрал ни слова. Сквозь штaketник можно было видеть клюющих траву бабушкиных кур, неспешно прогуливающих по бровке. За небольшой канавкой – пустынную дорогу Шоферского, где люди проходили настолько редко, что вызывали своим появлением удивление. Одинокий вялый комар попытался укусить в колено, я прихлопнул его мимоходом. Но, разглядывая изогнутый червячок его тельца на ладони,

представляя, что потом бы нога чесалась, вспомнил внезапно, как она чесалась прошлым летом, когда упал на щебенку и расцарапал коленку. Мама тогда помазала её зеленкой, под которой narosли зудящиеся коросты, и чтобы я их не расчёсывал, сверху наклеила лейкопластырь.

Время от времени с обратной стороны дома доносилось шебуршание цепи, глуховатые рыки-взлай собачки, и я понял, что нужно сделать. Бобке надо смазать хвост зелёнкой и обмотать лейкопластырем! Но как только об этом подумал, на крыльце зашумел хрипловатый старший из Рыжиковых:

– А чего здесь – нельзя? Вон за домом, где пороси воняли – и зарыть.

– Заразу хочешь оставить? – как каркнула бабушка.
– Ведите в лес, давайте!

– Ну не знаю, – почти незнакомый мягко в нос голос. Сашка слыл молчуном, разговаривал редко, только с прищуром улыбался холодновато, отчего его рыжеватые, вступающие в силу усишки удлинялись по-тараканьи. – Стрёмно как-то. Я их не давил никогда.

– Вчера курицу задушил. Сегодня на дитё кинулся. Это как? – заметил, что за бабой всегда оставалось последнее слово.

Потянуло дымком, братья закуривали, и вроде даже продолжали с ней спорить, но уже не было слышно: Боб внезапно облаял, загремел цепью, а потом... взвизгнул от боли.

– Да не пинай ты его! – внезапно заорал Толька. – Держи лучше! Я отцеплю.

И тут я понял, что тёмно-червивый воздух никуда не исчез. Он притаился на крыше и теперь падает на меня, похожий на сугроб вперемешку с угольной пылью. Внезапно захотелось вскочить, побежать, раскидать их – чувствовал, что могу, что настолько стал сильным. Затем схватить Бобку и бежать с ним по пустой улице, унося

подальше, вздымая над головой, предлагая дышать новым, свежим пространством. Картинка настолько отчётливо и пугающе пронеслась в голове, что обмер внутри, стал пустым на секунду. Из этой пустоты стремительно росли досада пополам с растерянностью. И только когда сквозь штакетник замаячили плотные фигуры, как-то странно толкавшие, почти волочившие что-то, я спохватился и выбежал за калитку.

Боба вели при помощи того самого черенка, что я выдернул из старой тляпки, на гвоздях крепилась плотная петля, не позволявшая ему отказываться от движения и приближаться к ногам. Вначале упираясь, пёс, похоже, смирился, что надо идти. Засеменил, свесив язык, норовя свернуть с дороги на бровку, где удивлённо таращились на него куры. Обхватив палку двумя руками, цыкая ругательства, Толя пихал собаку перед собой, а Сашка, как обычно, вяловато и чуть покачиваясь под матроса вышагивал следом. Припустив за ними, я закричал:

– Куда вы его тащите! Не надо! Нужно зелёнкой помазать!

Толя обернулся, свернув физиономию в брезгливость со словами: «Этот ещё откуда?». А я бежал и вопил:

– Не убивайте его! Пожалуйста! Ведь вы не его, вы себя убьёте. Его вылечить можно!

И так удивился тому, что выкрикнул, что несколько не сопротивлялся, когда сильные руки Сашки поймали за плечи. Я не знаю, почему решил, что так и будет. Но что так и будет – знал чётко, как и то, что зимой снег, а летом – тепло. Нависая усишками, Сашка спросил:

– А у тебя зелёнка есть? Ну, так неси!

Уставившись на его пахнущее портвейном лицо, я понял, как брат прав. У мамы же в шкафчике стоит зелёнка, и если я её принесу, то Бобу помажут, и всё закончится.

– Да! Я сейчас! Вы подождите. Сейчас! – развернулся и понёсся по направлению к дому.

Я бежал, как никогда не бегал. Грунтовка больно отдавалась в пятки и отсчитывала ритм в голове: «Спасти Боба, спасти Боба...» И только когда в боку закололо, обернулся и понял, что был обманут. Рыжиковы еле различимыми спичками фигур уже маячили у дома Паулины, где, должно быть, главный гусь провожал их, любопытно хлопая крыльями по бокам. За трассой, где на небольшой полянке, скованные бетоном по ногам, были распяты на проводах гигантские звёзды с разноцветными шишками на лучах, виднелся край леса, куда папа водил меня как-то по грибы. Там видел большой и красивый мухомор: точно такой, каким рисуют в книжках.

Уже знал, что если потом спрошу у братьев про Боба, они, честно глядя в глаза, скажут, что тот вырвался и куда-то убежал. И никогда о том, что случилось на самом деле. Я не понял, отчего реву больше: от жалости к пёсику или от такого наглого обмана. Плёлся домой, вытирая рукавом сопли, и взывал к пустой дороге. Ни души. Никто не выскочил, не спросил, что случилось, не догнал Рыжиковых, не остановил их... Было больно. Не знал почему, но было. Маме, как смог, пытался рассказывать, навзрыд трясясь, что Боба убьют, а надо было – зелёной. Она налила мне чаю и дала кусок рафинада, что делала только по праздникам. Облизывая его, посасывая, успокаиваясь, лёг в гамак и не заметил, как уснул.

На следующий день родители повели меня в город, в магазин, где покупали портфель, школьную форму и тетрадки. Оказывается, папа ещё в Канске купил необычный пенал – таких не было в нашем магазине. Помимо ручек разных цветов, в нём была строгалка, круглый ластик, маленькие ножницы и даже указочка для чтения. Перебирая внезапно свалившееся богатство, выводя на листочке то красной, то зелёной, почувствовал

себя настолько взрослым, что понял: наверное, так было и надо. Боб бы содрал зубами лейкопластырь и не испугался бы кусать раскрашенный обрубок. Собаки не различают цвета – так сказала мама. Но к бабушке больше заходить не хотел. Только когда пришло время копать картошку, пришёл к ней вместе с родителями и, проходя мимо пустой будки, чувствовал, как сердце начинает колотиться часто и тяжело. Бабушка огорошила нас новостью, что Сашка Рыжиков ушёл из дома и теперь живёт на соседней улице с Маринкой, что намного его старше. Её муж в армии, и Сашка чинит его старый, давно не ездивший «Жигулёнок».

В последние дни лета я заболел. И пропустил первые дни в школе. Вначале большим и указательным пальцами правой руки стало к чему-либо больно прикасаться, а как-то наутро они перестали болеть, но стали зелёными. Мама ужаснулась и повела в больницу, где две тётеньки в белых халатах держали меня и руку, а третья резала по моим пальцам острым ножиком, выпуская тёмную, почти чёрную кровь ручейками. Я, конечно, дико орал, но больше от непонятности происходящего, чем от боли, потому что пальцы, перед тем, как позеленеть, ничего не чувствовали. А потом на левой коленке выступил огромнейший чирей, и меня опять повели в больницу. Разглядывая замусоленные бинты на руке и ноге, подумал, что этими пальцами держал молоток, а коленкой прижимал черенок от тяпки, когда вбивал в него гвозди. Хотел рассказать об этом кому-нибудь, но промолчал, потому что следующий чиряк вылез около паха и спутал все карты.

К нам зачастила тётя Хвидора. Держась особняком, чуть надменно – бухгалтер всё-таки, – ранее заходила редко и только по делу. Они что-то обсуждали с матерью: про засолы, толковали бабушкины сны, которыми та делилась с каждым, кто приходил. А затем, отведя меня в сторону, тётка сунула в руку деньги и попросила отнести Сашке. Из взрослых пересудов я уже слышал, что Саша

разругался с родными, и они наобещали друг друга не видеть. Дом Маринки я знал, потому тут же направился к ним, найдя брата в гараже, с перемазанным липко-чёрным лицом. Тот выбрался из-под машины, подмигнул и заулыбался, шевеля усиками. Деньги попросил занести в дом, отдать Марине, потому что руки грязные. Тогда я не знал, что видел его в последний раз.

Как ни просился, меня отправили в школу. Я сидел на уроках, когда его хоронили. Не прошло и недели, как заходил к ним с деньгами. Они решили опробовать «Жигули», что-то там не получилось с тормозами. Машину занесло на железнодорожную насыпь и несколько раз перевернуло. На Маринке, что сидела позади, ни царапины, а Сашку выкинуло через стекло.

Зимой нам дали квартиру, и через какое-то время мы забрали бабушку к себе. Оказалось, что она болеет раком лёгких. Иногда бабуля видела галлюцинации: убеждала, что в шкафу у неё Толька Рыжиков, а за окном пролетал зелёный телёнок. Порой начинала задыхаться, вставала на четвереньки, в таком виде кружилась по полу и выползала на лестничную площадку с криками: «Они меня травят!» стучалась к соседям. Когда же чувствовала себя хорошо, поставив перед собой табурет с широким сиденьем, раскладывала на нём карты. Мне нравилось, когда она гадала, потому что тогда она не несла чепухи, не вопила, а была спокойной и умиротворенной. Бабуля гадала на всех родных по очереди, приговаривая, бормоча. А однажды рассердилась на карты, посреди гадания грубо сложила в стопочку, упала на кровать и заплакала.

Толю нашли повешенным в казарме, где он проходил службу, где-то в Тюменской области. Бабушка умерла в апреле. Она лежала, изогнувшись, грудь к потолку, откинув голову и широко раскрыв рот. Я и не подозревал, что у неё настолько длинные волосы. Всегда уложенные под платок, на этот раз они разметались по

подушке, свисая с неё на удивление чёрными прядями с небольшими и красивыми ручейками седины.

Мне досталась её комната, но жить и расти там было не страшно. А когда со мной случалось что-то плохое, болезненное, неприятное, говорил себе: «В конце концов, я ведь тоже делал эту палку!».